

Леонид Фейнберг¹

Из книги “Три лета в гостях у Максимилиана Волошина”

1911 год

<...> – Вон дача Волошина, – сказал кто-то чужой, указывая на белый дом, стоявший на самом берегу, казавшийся отсюда не домом – домиком.

Скоро мы подъехали к боковому входу в низкую ограду – из какого-то тускло цветущего кустарника. Ограда окружала довольно большой участок, на котором росли мне незнакомые деревья (тутовые) и стояли – один за другим – два дома.

Возница подхватил наши довольно лёгкие пожитки. Я понёс мои принадлежности для живописи: ящик с масляными красками, чемоданчик с моим барахлом. По дорожке, скорее – тропинке, протоптанной среди суховатой травы, мы подошли к дому. Вошли на террасу, торчавшую, как большое крыло, влево от дома.

Терраса была очень длинная и узкая. На полдлины её тянулся простой дощатый стол. На лавках вокруг него могло бы легко усесться человек двадцать. Справа были двери в какие-то комнаты. Слева – за скамьёй – полустенка: над ней простор, затканый вьющимся диким виноградом. Пол был кирпичный. Кирпич – уложенный довольно неровно: словно под ноги положили стену кирпичного сарая.

Прямо в конце террасы – глухая, белёная мелом? известью? – стена. На ней, словно смелой рукой ребёнка, были намалеваны какие-то фигуры. Запомнилось, пожалуй, больше обычного роста – фигура девочки-подростка в профиль. Справа, внизу был прибит какой-то ящик, похожий на почтовый, из некрашеной фанеры.

В конце стола сидела Лиля (*Елизавета Яковлевна Эфрон*) – в киноварно-красном – без узоров – халате. При виде нас она не проявила никакого восторга. Даже простой приветливости.

– Ну что? Всё же приехали? А знаете: свободных комнат нет. Все заняты.

Белла² промолчала, а Маня Гехтман, возможно, возразила:

– Почему же вы нас не предупредили?

Лиля осталась вполне равнодушной.

– Ничего! Как-нибудь вы устроитесь. Серёжа! Проводи Лёню к Манасеиным. Может быть, у них найдётся свободная комната?

На террасе было ещё человека четыре. Мне показалось, что все они одеты как-то странно. Непривычно. Но ведь я и ждал чего-то необыкновенного. Однако одет странно был именно я: в гимназических брюках, с гимназической фуражкой на

¹ Леонид Евгеньевич Фейнберг (1896-1980) – художник. Фрагменты из его книги “Три лета в гостях у Максимилиана Волошина” печатались в журнале “Дон” (1980, № 7) и в сборнике “Панорама искусств 5” (М., 1982). Воспоминания Л. Е. Фейнберга публикуются по тексту, предоставленному составителям его вдовой Верой Николаевной Марковой.

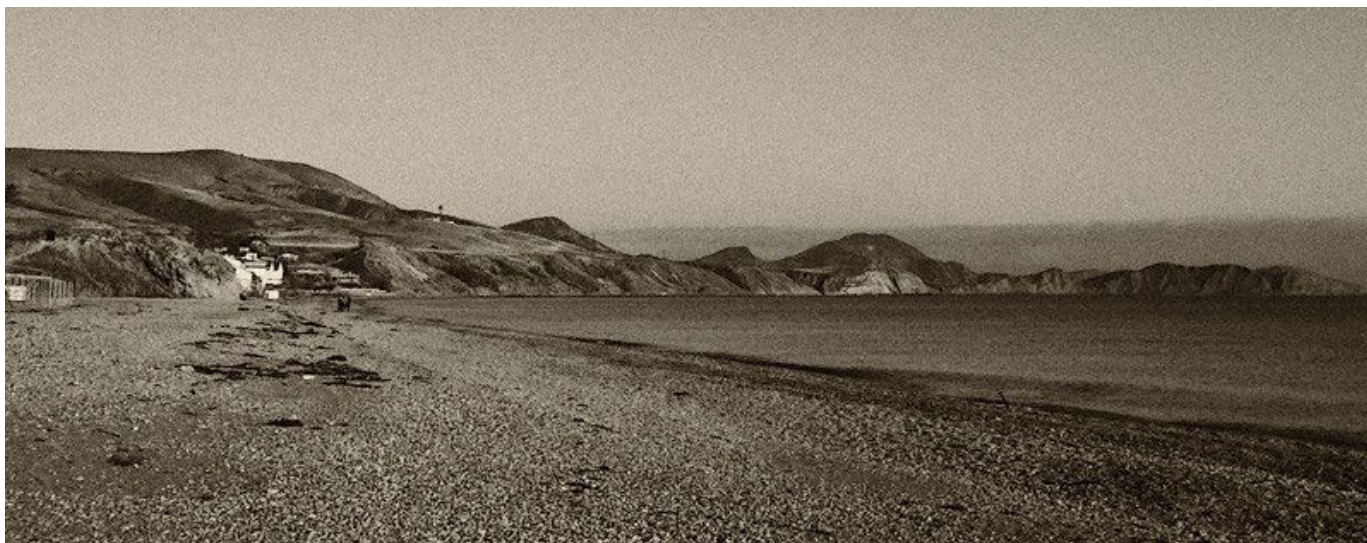
² Фейнберг Белла Евгеньевна (в замужестве Майгур, 1888-1976) – сестра автора воспоминаний.

голове. Серёжа Эфрон – брат Лили. В коктебельском наряде – с голыми, загорелыми икрами стройных ног – подлинный воин из войска Карла Великого. Худой, высокого роста, удивительно красивый. В этот день мне ещё предстояло изумляться облику нескольких людей. Как у всех Эфронов, его серые глаза поражали и величиной и глубиной. Сам разрез глаз, его веки были необычайно расширены. Белки глаз слегка голубоваты. Длинный, прямой нос, скорее изваяния, чем живого человека. Твёрдые губы – плотно сжаты. Он не был разговорчив.

Идти пришлось минут пять. Там был сад. Персики. И тоже белый домик – поменьше.

– Подождите меня здесь, Лёня. Я сейчас вернусь.

Но я и не хотел никуда уходить. Я только глядел вокруг. Дача Манасеиных была “во втором ряду” – не у самого моря. На западе – между деревьями – темнели горы. Небо не было безоблачным. Я заметил, что кучевые облака вытянуты вверх – столбами.



Дул довольно прохладный ветерок с моря. Теперь, после зимней болезни, я побаивался простуды. Прошло два дня, и я перестал замечать – этот коктебельский бриз.

С террасы спустился Серёжа.

– Очень досадно! У них тоже нет ни одной свободной комнаты.

Мы вернулись обратно.

– Лиля!.. У них тоже все занято.

В это время на террасу вышла женщина, невысокая, с удивительным “челом”. Если только это была женщина. Её мужественное лицо напоминало облик вождя древнейшего народа. Таким я мог себе представить вождя какого-нибудь галльского племени. Одета она была красиво. Её длинная кофта-казакин³ была сшита, как я потом узнал, из крымских татарских полотенец. Широкие шаровары, тёмно-синие, внизу были заправлены в оранжево-кирпичные ботфорты с отворотами. О её лице я ещё скажу более подробно. Сейчас я прибавлю только, что в твёрдо сдвинутых бровях и плотно

³ Кофты-казакины Е. О. Волошиной в Доме поэта называли шушунами.

сжатых губах проглядывало нечто привычно-властное. В левой руке она держала маленькую стальную трубу, нечто вроде миниатюрного корнет-а-пистона.

– Лиля! Ваши друзья всё же приехали? А вы говорили – они не решатся, не приедут. Это – Белла, а это Лёня Фейнберг? А это Маня Гех... Гех...

Мы подсказали: “Гехтман”.

– У нас нет комнат. У Манасеиных тоже. – Это сказал Сергей Эфрон.

В эту минуту на террасу вышел Макс.

Если в облике его матери сквозило нечто непреклонно-твёрдое, то в лице Макса можно было заметить нечто непреклонно-мягкое. Если можно так выразиться. Он не был высок, но я ощутил, что на террасу вышло нечто громадное. Его необычайно обширная голова, широкое лицо, в сущности, с весьма правильными чертами, было ещё расширено, ещё увеличено обильным массивом волос, едва-едва тронутых на редкость ранней сединой. Волосы Макса лежали как-то особенно плавно, красиво и были, главным образом, откинуты назад, но так широко курчавились и над висками. Бакенбарды были небольшие, невысокие: вероятно, выстрижены своею же рукой. Но они соединяли массу волос на висках с широкой, округлой, чрезвычайно плотной, но более гладкой бородой, более русой, где ранняя седина сказывалась сильнее. Широкий, отвесный лоб был несколько выдвинут вперёд, с упорным доброжелательным вниманием. Взгляд не очень больших, светлых, серо-карих глаз был поражающе острым – вместе с тем и бережно-проницательным. В его глазах было нечто от спокойно отдыхающего льва. Это сходство подчеркивалось тем, что прямые верхние веки в сторону переносицы приподнимались островатыми уголками. Небольшие, очень уж аккуратно и плотно сложенные губы открывались в словах так, что каждая фраза, сказанная Максом, была весьма совершенной. Я ни разу не слышал, чтобы Макс смеялся. Даже улыбался он не слишком часто. Чаще глазами, чем губами.

Поражала массивная плотность всей его фигуры: не чрезмерная полнота, скорее – мощь.

Одет он был в какую-то хламиду, коричнево-лиловую, доходящую до щиколоток, подпоясан каким-то толстым шнуром, почти верёвкой. На босых ногах – чувяки, как, впрочем, у всех бывших на террасе, кроме матери Макса.

Ещё одно: его густые волосы, не курчавые, но плавно-волнистые, были перевязаны жгутом из трав. Каких? Пусть сам Волошин перечислит названия: «Обовью я чобром, мятой и полынью седой чело...»

Если его мать была похожа на вождя древнегалльского племени, сам Волошин напоминал друидического жреца.

Макс внимательно-мягко посмотрел на мою сестру.

– Вы – Белла Фейнберг?

– Да, Максимилиан Александрович.

– Это имя вам подходит. Зовите меня, как все тут называют: просто Макс!

Белла улыбнулась. Кажется, в первый раз, как мы приехали в Коктебель.

– А вы – Лёня? Вы – художник?

– Ну что вы, Максимилиан Александрович! Я только начал учиться рисовать...

Макс подошел к матери – и что-то ей тихо сказал. Что именно? – не знаю.

Та обратилась к Лиле, если не сурово, во всяком случае – твёрдо.

– Лиля! Приехали ваши гости. Вы их пригласили к нам сюда. При чём тут Манасеины? Зачем вы, даже не поговорив со мною, посылали Серёжу? Вы можете спать вместе с Верой. Вот – одна комната для Беллы и Лёни. А Маню я сама устрою. Всё в порядке.

В дальнейшем я почти везде буду называть Максимилиана Александровича просто Максом. Не только потому, что я так называл его двести пятьдесят дней. Не только оттого, что так его именовали – в своих воспоминаниях – сестры Цветаевы. Я заметил, что Макс не очень-то любил, когда его имя произносилось полностью с отчеством. Более того: для меня “Макс” – нечто большее, чем имя, чем наименование или прозвище. “Макс” – своего рода иероглиф, который я пронёс в своей душе почти три четверти века. “Макс” – есть Макс. Иногда я буду произносить “Волошин”.

Елена Оттобальдовна сошла с террасы в сад – и начала дуть в свою маленькую трубу. Раздались звуки, то звонкие, то – хриплые, лишённые какого-либо музыкального смысла. Призыв к обеду. Я это понял, когда какая-то женщина принесла грудку тарелок.

– Ещё три прибора! – сказал Макс.

– Макс! Макс! Бога ради, никаких обманов! Мы все так от них устали, – сказал Серёжа.

– На этот раз – никаких обманов и не будет. Смысл этого краткого диалога я вскоре понял. Сперва он показался мне чрезвычайно странным.

Нам выделили три места за дощатым столом – без скатерти. Эти места были по правую руку от Пра – и наискосок против Макса. Двое суток в поезде я питался кое-как. И сейчас был рад по-настоящему пообедать.

Кто сидел за столом “Коктебельские сонеты” Макса

Разрешите мне привести сонет Волошина – под заглавием “Обед”:

Горчица, хлеб, солдатская похлёбка,
Баран под соусом, битки, салат,
И после – чай. “Ах, если б, шоколад!” –
С куском во рту вздыхает Лиля робко.
Кидают кость; грызёт Гайдана Тобка;
Мяучит кот; толкает брата брат...
И Миша с чердака – из рая в ад –

Заглянет в дверь и выскочит, как пробка.
 – Опять уплыл недоенным дельфин?
 – Серёжа! Ты не принял свой фитин! –
 Серёже лень. Он отвечает: “Поздно!”
 Идёт убогих сладостей делёж.
 Все жадно ждут, лишь Максу невтерпёж.
 И медлит Пра, на сына глядя грозно.

По поводу этого сонета я ещё должен буду сказать несколько слов. В частности – об “уплывающем недоенном дельфине”.

Происхождение “Коктебельских сонетов” Макса. Дело в том, что шестнадцатого мая праздновался день рождения Волошина. <...> К этому дню Макс собственноручно сколотил фанерный ящик – вроде почтового – и прибил его к стене на террасе. Было предложено всем желающим опустить в гостеприимную щель любые шуточные (а также и серьёзные) стихи и рисунки, карикатуры, смешные пожелания – любые творческие подарки.

И вот – сам Макс, без подписи, опустил в ящик рукопись семи “Коктебельских сонетов”. Подарок себе самому и всем другим.

В них, как на ладони, можно различить главные особенности жизни, нравов, характеров всех членов “обормотника”. <...>

Но вот сейчас я сижу впервые за этим обеденным столом, и прямо против меня, на южной стороне стола, сидит Серёжа Эфрон. И рядом с ним – его юная жена – Марина Цветаева. <...>

Дальше – во главе стола – сидел Макс – с удивительно обширной головой (море волос), с лицом не то древнерусского богатыря, не то – галльского жреца, не то – эллинского Зевса... Он изредка сосредоточенно шутил, на что Лиля – его соседка по столу – отвечала уже знакомым мне, звонким дробно-заливчатым смехом. И рядом с ней сидевшая её сестра – младшая – Вера Эфрон, с ещё более поражающим глубоким взглядом необычайно больших серых глаз, усмехалась тихой, слегка грустной улыбкой...

На северной, длинной стороне стола сидели мы – трое новоприбывших; Елена Оттобальдовна, распорядившаяся едой: разливавшая суп или борщ, распределявшая порции второго блюда, – и рядом с ней пожилая, совсем седая её знакомая, скоро уехавшая. Не помню её имени, откуда она. Не её ли Макс – в шутку – называл *Dame de rikie* (*Пиковая дама (франц.)*). Она помалкивала. Не помню её голоса.

За нею, на переднем углу стола, сидел Миша, невысокий, худощавый. Небольшие глаза. Довольно странный взгляд. Кажется, племянник Елены Оттобальдовны. Увы – психически больной. Мания преследования. Иногда он отваживался пообедать со

всеми, но чаще предпочитал есть у себя на чердаке дома, где он жил и где он мог тщательно обследовать еду, прежде чем решиться ею воспользоваться.



Коктебель, 1911 г. Слева направо Е. О. Волошина, Марина Цветаева, Анастасия Цветаева, Вера Эфрон, Сергей Эфрон, Елизавета Эфрон

даже выше Серёжи Эфрона – весьма красивый юноша. В то лето, очень часто, почти постоянно, к нам присоединялся юный художник – Людвиг Квятковский, чрезвычайно талантливый.

Иногда, не часто, присоединялся композитор Ребиков. И Константин Федорович Богаевский – замечательный художник, друг Волошина. Вскоре Макс привёл меня в его чудесную феодосийскую мастерскую.

Лето 1911 года. Только одно лето, когда у меня был с собой мой дешёвый фотоаппарат “Дельта”, хорошо снимавший, хотя объектив был даже не “апланат”, а просто ландшафтный. Вот снимок: весь наш обеденный стол, со всеми участниками, без меня, конечно: я – снимаю. Моё место рядом с Беллой, там, где стоит Маня Гехтман.

Обед подходил к концу. Не помню, что было “на второе”. Какое-то мясо – с салатом или макаронами. Кажется, ещё вместилище, вроде глубокого блюда с черешнями и персиками. Кроме того, у большинства были свои корзиночки или кувшины с фруктами. На стол была высыпана горка простецких сладостей: монпансье, мармелад.

Елена Оттобальдовна по возможности поровну распределяла их между всеми сидящими. Макс – это и для меня было ясно – разыгрывал нетерпение:

– Ма-а-ма! Если можно – мне без очереди! Я не могу ждать! Я очень хочу!

Елена Оттобальдовна – в свою очередь – разыгрывала суровую справедливость:

– Все получают по очереди!

Вот мы и обошли вокруг стола и назвали всех сидевших. Так было в день нашего приезда. Так было каждый день. Потом состав мог слегка измениться. Приехал жених Аси (она была на два года моложе Марины: осенью ей должно было минуть семнадцать). Потом обе пары – Марина с Серёжей и Ася со своим будущим мужем – уехали.

Время от времени приезжали гости. Петр Николаевич Лампси – феодосийский мировой судья, кажется – внук Айвазовского. Его воспитанник – Коля Беляев, высокого роста,

– Но я, мама, не могу ждать! Не в силах.

– Тогда ты получишь последним!

Но дележ кончился благополучно. Мы тоже получили – каждый свою долю.

После обеда, к нашему удивлению, все – хором – скандировали сонет в честь матери Макса: тоже из “Коктебельских сонетов”:

Пра

Я Пра из Прей. Вся жизнь моя есть пря.
 Я, неусыпная, слежу за домом,
 Оглушена немолкнувшим содомом,
 Кормлю стада голодного зверья.
 Мечась весь день, и жаря, и варя,
 Варюсь сама в котле давно знакомом.
 Я Марье раскроила череп ломом
 И выгнала жильцов, живущих зря.
 Варить борщи и ставить самовары
 Мне, тридцать лет носящей шаровары,
 И клясть кухарок! Нет! Благодарю!
 Когда же все пред Прою распростёрты,
 Откинув гриву, гордо я курю,
 Стряхая пепл на рыжие ботфорты.

Если мой читатель не знает, что значит слово “пря”, он легко может его найти хотя бы в толковом словаре Ушакова. “Пря” – старорусское слово, обозначающее спор, борьбу. Теперь оно употребляется всегда в шутовском применении. Но у Жуковского можно найти “пря” ещё в прямом смысле – и вдобавок поэт это слово склоняет.

Конечно, смешно склонять несклоняемую приставку “пра”, обычную в словах прадед, прабабушка, прародина, праязык и во многих других случаях. Чудно склонять как своего рода женское имя. <...>

Не знаю, возникло ли это прозвище⁴ вместе с сонетом Макса или было в ходу и раньше. Но так уж к ней и приросло. Все мы привыкли её называть “Пра”. И она привыкла, что так её называют. <...> Голова Пра величественна, несмотря на её

⁴ “Мать Волошина стали называть “Пра” после одного забавного случая, в котором ей пришлось играть роль прапрабабушки многочисленного сборного семейства. Дело в том, что в Париже за одной из приятельниц (*Е. Я. Эфрон*) Макса стал ухаживать француз, возымевший намерение на ней жениться. Чтобы отвязаться от него, она ему сказала, что она замужем и имеет детей, Он не поверил и приехал в Коктебель проверить это. Для него была инсценирована грандиозная выдумка. Француз думал, что он попал в сумасшедший дом, но все были с ним так любезны и так хорошо знали свои роли, что он не выдержал и скоро уехал” (текст воспоминаний предоставлен составителям сыном О. А. Ваксель – А. А. Смольевским).

невысокий рост. Вглядитесь в фотографию. Вы ощущаете нечто древнее? Скорее – скандинавское.

Татарские полотенца – из них она шила свои кофты-казакины – были двух родов. Или яркие, с простым геометрическим, вышитым гладью узором вдоль всего полотенца (краски – жёлтые, красные, синие, чёрные), или другие – светлые, украшенные мелкими блестящими пластинками – финифти? глазури? И меж них расшивка тоже мелкими узорами шёлковых или шерстяных нитей. Так или иначе кофты-казакины Пра были весьма нарядными.

Волосы её тоже были обильными и курчавыми – уже пополам с сединой. Но далеко не столь мощно обильные, как у её сына.

Ещё о “Коктебельских сонетах” Макса

Красавчик француз, monsieur Жюль⁵, и впрямь появился в начале мая в Коктебеле. Его цель была увезти свою любимую Elisabeth и жениться на ней. У самонадеянного негоцианта даже не могла промелькнуть мысль об отказе. Что же оказалось? Пусть об этом расскажет один из сонетов Макса:

Француз

Француз – Жульё, но все ж попал впросак.
 Чтоб отучить влюбленного француза,
 Решилась Лиля на позор союза:
 Макс – Лидин муж, поэт, танцор и маг.
 Ах! Сердца русской не понять никак,
 Ведь русский муж – тяжёлая обуза.
 Не снёс Жульё надежд разбитых груза:
 – “J'irai perir tout seul a Karadak!”*
 Все в честь Жульё городят вздор на вздоре,
 Макс с Верою в одеждах лезут в море,
 Жульё молчит и мрачно крутит ус.
 А ночью Лиля будит Веру: “Вера,
 Ведь раз я замужем, он, как француз,
 Ещё останется?.. Для адюльтера?”

** (Я уйду погибнуть одиноким
 на Карадаг (франц.))*

⁵ О реальности этого персонажа говорит упоминание в письме В. Я. Эфрон к Волошину в Париж (по контексту – конец 1911 года): “Да, был Julia – и Лилька от него пряталась” (ИРЛИ).

Между другими обманными придумками был дельфин, который будто бы приплывал, чтобы его доили и его молоком лечили слабогрудого Серёжу Эфрона. Кроме того, Макс (он очень хорошо говорил по-французски) уверял, что может вместе с Верой ходить по воде, как посуху, хотя для удаи такого опыта требуется помощь – особое благоговейное настроение зрителей. Были “мистические танцы”. Разнообразные “магические действия”. Весь “вздор на вздоре”, как сказал мне сам Макс, разыгрывался необычайно серьёзно и совершенно. Сам Волошин был превосходным актёром. Все Эфроны были театрально одарены и могли блестяще разыграть любую мистификацию.



Не знаю, верил или нет французский негоциант всему происходящему перед ним. Но у него вряд ли могло возникнуть сомнение, что его Lili – замужем... и за кем?

Так или иначе, ему ничего не оставалось, как через несколько дней удалиться из Коктебеля – навсегда.

Может быть, кому-нибудь покажется, что в таком “обмане” таится нечто жестокое. Это – неверно. В конце концов, здесь была наиболее гуманная форма отказа. Гораздо жёстче было бы попросту сказать: “Уходите прочь, вы ошиблись адресом”.

Теперь я понимаю, что все мистификации Макса неизменно клонились к добру. Тогда, ещё мальчик-подросток, я вообще не задавал себе таких сложно-нравственных вопросов. <...>

Что касается нас, новоприбывших, мы не были подходящим объектом для таких экспериментов. Я был ещё мальчик, а Белла... Макс с его сверхобычным чутьём ощущал – прямо по её лицу – недопустимость таких опытов. Вообще отношение Макса к Белле было неизменно доброжелательным, бережно дружелюбным. Он догадывался о её душевной хрупкости и незащищённости.

День рождения Макса – 16 мая – был отпразднован без нас: мы ведь приехали в июне. Смутно помню: рассказывали, что был испечён большущий пирог.

Подарки? Но откуда их взять? И где найти деньги – их купить? Главный подарок – были “Коктебельские сонеты” – от лица “Неизвестного”.

Этот “Неизвестный”, то есть сам Макс, конечно, прекрасно – во всех подробностях – знал быт всего “обормотника”. В этом парадоксальном сочетании строгой формы классического сонета и точнейших бытовых деталей таится особое очарование этой серии. Нередко мы слышим голос одного из участвующих в жизни этого замечательного клана. Чаще всего Макс предоставляет слово Лиле Эфрон и вводит в текст её темпераментные и несколько наивные реплики.

Я уже приводил сонет под названием “Обед”, где Лиля откровенно мечтает о шоколаде. Ещё четыре сонета нас вводят в живой быт небольшого кружка, я сказал бы так: друзей Макса.

Утро

Чуть свет, Андрей приносит из деревни
 Для кофе хлеб. Потом выходит Пра
 И варит молоко, ярясь с утра
 И с солнцем становясь к полудню гневней.
 Все спят ещё, а Макс в одежде древней
 Стучится в двери и кричит: “Пора!”
 Рассказывает сон сестре сестра,
 И тухнет самовар, урча напевней.
 Марина спит и видит вздор во сне,
 А “*Dame de-pique*” уж на посту в окне,
 Меж тем как наверху мудрец чердачный,
 Друг Тобика, предчувствием объят,
 Встревоженный, решительный и мрачный,
 Исследует открытый в хлебе яд.

Пластика

Пра, Лиля, Макс, Сергей и близнецы
 Берут урок пластического танца.
 На них глядят два хмурых оборванца,
 Андрей, Гаврила, Марья* и жильцы.
 Песок и пыль летят во все концы,
 Зарделась Вера пламенем румянца,
 И [Бивол]-Макс, принявший вид испанца,
 Стяжал в толпе за грацию венцы.
 Сергей скептичен. Пра сурова. Лиля,
 Природной скромности не пересила,

– “Ведь я мила?” – допрашивает всех.
 И, утомясь показывать примеры,
 Теряет Вера шпильки. Общий смех.
 Следокопыт же крадет книжку Веры.

“Следокопыт” – шутливая переделка Максом слова “следопыт”, как называл себя один из близнецов. Я хорошо их помню. Однако эта семья держалась особняком. И вскоре мать с обоими сыновьями уехала из Коктебеля.

* * *

Вы уже читали: “Грызёт Гайдана Тобка”. На волошинской территории бегало много собак. Но только двум разрешался " вход на террасу. Тобик был довольно большой, неприглядный пес, гладкошерстный, чем-то напоминающий фокстерьера-переростка. У настоящих фокстерьеров – поменьше – обычно чёткие, коричневые, беспорядочно разбросанные пятна. У Тобика были тоже беспорядочные пятна, но как бы мутно-размытые.

Гайдан – поменьше. Чёрная мохнатая дворняжка, с рыжими подпалинами.

Тобик был собственным псом несчастного сумасшедшего Миши – племянника Пра.

Говорили, что Миша, всегда озабоченный приготовлением противоядий для мерщившихся ему в еде отрав, сперва испытывает свои инъекции на бедном Тобике.

Гайдан находился под покровительством Марины Цветаевой. Тобик, более сильный пёс, быстро выжил бы соперника с террасы, если б Марина не защищала своего подопечного. Впрочем, Марина обожала всех собак и всех кошек.

Макс в “Коктебельских сонетах” предоставил слово обоим псам.

Тобик

Я – фокстерьер по роду, но татар,
 Я думаю, во мне есть кровь гасконца.
 Я куплен был всего за полчервонца,
 Но кто оценит мой собачий жар?
 Всю прелесть битв, всю ярость наших свар
 Во тьме ночей, при ярком свете солнца
 Видал лишь он, глядящий из оконца,
 Мой царь, мой бог – колдун чердачных чар.
 Я с ним живу ещё не больше году,
 Я для него кидаюсь смело в воду,
 Он худ, он рыж, он властен, он умён,
 Его глаза горят во тьме, как радий,
 Я горд, когда испытывает он
 На мне эффект своих противоядий.

Гайдан

Я их узнал, гуляя вместе с ними.
 Их было много. Я же шёл с одной.
 Она одна спала в пыли со мной,
 И я не знал, какое дать ей имя.
 Она похожа лохмами своими
 На наших женщин. Ночью под луной
 Я выл о ней, кусал матрац сенной
 И чуял след её в табачном дыме.
 Я не для всех вполне желанный гость.
 Один из псов, когда кидают кость,
 Залог любви за пищу принимает.
 Мне жёлтый зрак во мраке Богом дан.
 Я тот, кто бдит; я тот, кто в полночь лаает,
 Я чёрный бес, а имя мне – Гайдан.

Я не знаю, был ли где-нибудь у нас осуществлен цикл таких шуточных, бытовых сонетов. Думаю, что это – своеобразный опус, не имеющий аналогий. В русской литературе было много смешных и пародийных произведений – вспомним хотя бы Козьму Пруткову. Но не в форме цикла сонетов. <...>

Рисунок и живопись Волошина в одиннадцатом году.

Мои первые коктебельские этюды

...В 1911 году, летом, а также в 12-м году и в 13-м Макс рисовал только с натуры и только гуашью. <...> У него был прекрасный французский альбом – широкий, с тонированной, чуть шероховатой бумагой, чрезвычайно удобный для работы гуашью. Почти каждый разворот был особого цвета, скорее – оттенка: большинство листов были кремовые, серо-охристые, серебристо-серые. Отдельные развороты были почти белые, другие – наоборот, коричневые, некоторые из них даже чёрно-коричневые. Такие тёмные страницы требовали работы светлой краской, при помощи примеси белил.

Этим летом Макс только начал работать в этом альбоме. Я помню первые этюды. Кажется, в первый раз Макс взял меня с собой, и мы пошли в сторону Сюрю-Кая, к её отрогам. Там пробивался источник – из подножия одной из скал. Немного ниже была запруда, и ручей разливался небольшим озерцом, где отражались и ветви, и скалы, и небо.

Я помню, как точно и безошибочно начертал Макс “проволочный” контур фрагмента пейзажа. Используя контурную схему, Макс начал работать гуашью. Я заметил, что он утеплял все цвета, сохраняя соотношения светотени и необходимые градации тона. Часа через полтора этюд (если только такую творческую работу можно именовать “этюдом”) был закончен. При всей реальности передачи, общий вид листа был сильно отклонён в сторону сиены золотистой.

Какой размер был у альбома? Конечно, трудно определить по памяти. Предполагаю, ориентировочно, 24х38 сантиметров или около этого.

Сохранился ли этот альбом? За этот год он был заполнен только на четверть... Макс использовал только, помнится, страниц семь. Некоторые этюды были выполнены на полном развороте, то есть сразу и на левой и на правой стороне.

Макс знал наизусть все окрестные мотивы. Уходя работать в горы, он заранее обдумывал, какой именно элемент киммерийского пейзажа будет ему нужен, решая заранее, в каком общем тоне, в каком перспективном уклоне будет выполнен лист. В зависимости от творческого замысла он помещал в складную палитру больше тех красок, на которых будет основано общее цветовое решение. <...>

Если он предполагал, что будет рисовать, глядя в сторону моря, он нередко заранее, дома вычерчивал линию горизонта. В зависимости от высоты расположения этой линии на листе заранее предполагалась не только общая композиция, но и перспективный угол, под которым будет зафиксирована часть пейзажа.

При этом меня удивляло, что Макс часто отступал от строгой горизонтальной линии, придавая горизонту форму мениска, в середине – более высокую и постепенно снижающуюся на обе стороны. Я просил у него объяснения такого приёма, но его теоретические обоснования не казались мне вполне понятными, а всё – в конце концов – сводилось к тому, что он именно так ощущает правильность изображения горизонта, особенно в случаях, когда этюд располагался широко, на обе стороны раскрытого альбома. Надо сказать, что позже, в акварельных пейзажах, Макс уже не прибегал к этому приёму.

Мне помнится, что и в следующее лето двенадцатого года Макс продолжал пользоваться этим французским альбомом.

Иногда Волошин работал на листе бумаги, прикнопленном к плоской доске, в этом случае края бумаги следовало плотно прижимать к дереву доски, для чего у Макса был набор зажимов, иначе бумага, при работе разведённой на воде краской, могла коробиться.

Я написал тогда небольшой этюд маслом – с Макса, рисующего в горах. Макс сидит на небольшом складном стуле. Он в своём белом холщовом одеянии, брюки обрезаны немного ниже колен. На голове ярко-красная повязка. Макс уверял меня, что красный цвет так же защищает голову от солнца, как и белый. В левой руке он держит складную акварельную палитру, в ячейки которой заранее – весьма бережно – выложены, вместо акварельных плиток, необходимые гуашевые краски.

Большой палец левой руки продет в овальный вырез палитры. Другие пальцы поддерживают небольшую доску с укреплённым на ней листом бумаги и – одновременно – зажимают две-три запасных кисти (беличьи? колонковые?) разного размера.

Правая рука работает кистью неторопливым мягко-точным движением, неизменно присущим Макс – даже и не во время рисования.

1912 Год Снова – в Коктебель

<...> Полностью запомнил, как я ехал – один – в поезде, как прибыл в Феодосию и как добрался до Коктебеля. Помню, что оказался за тем же дощатым столом, на этот раз ближе к Макс. Он встретил меня с простым, серьёзным гостеприимством. И скоро я опять был допущен в его комнаты на втором этаже. Ведь “мастерской” и в этом году ещё не было.

Скоро опять я читал, лежа на диване, Достоевского. На этот раз, смутно помню, “Идиота”. В то время как Макс за своим столом не работал акварелью, а что-то писал. Вот тогда я и нарисовал его углём, довольно похоже. Не думаю, что этот, сохранившийся у меня, рисунок был выполнен в один день.

Макс. Некоторые черты его характера

<...> Одна из ценнейших черт его характера была непрерывная власть над собой. Он никогда не выходил из себя. Никогда ни гнев, ни досада, ни раздражение, ни смех, ни даже веселость не брали верх над его внутренним самообладанием, над внутренней плавностью его бытия.

<...> Слишком часто встречающийся, даже в наилучших воспоминаниях, образ Макса, этакого безгранично благодушного добряка-медведя, мне думается, снижает его образ. Я никогда не видел Макса бегущего кому-либо навстречу с распростертыми объятиями. Вообще говоря, мне никогда не приходилось видеть, что Макс *бежит*. Основная внешняя черта его была – плавность, плавность жестов и движений, мягкая, доброжелательная плавность, неизменно зоркая плавность (простите противоречие сближенных понятий). Любое нарушение этой плавности было вызвано сознательным решением, связанным с мистификацией, или с желанием принести пользу, или со своего рода душевным упражнением.

Незыблемая плавность волевых решений.

Неизменная плавность всей жизненной, даже житейской системы. Плавность быта.

Полностью противоположен Волошину был любой вид робости. Макс был смелым, беспредельно смелым. Но это не была внешняя смелость, показная отвага. И когда – значительно позднее – он сказал:

...Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, – вот плоть моя!⁶ –

это не было простой поэтической формулой. Я убеждён: так чувствовал Волошин всю свою жизнь. И я уверен, что Макс сохранял полное хладнокровие, более того – спокойствие стороннего наблюдателя, в день дуэли с Гумилёвым. И такую же невозмутимость сохранил Макс, по свидетельству Марины Цветаевой, когда загорелась вышка его мастерской (*См. воспоминания М. Цветаевой*). <...>

Даже в те годы – подросток – я подмечал в наружном облике Макса скрытые противоречия. На первый взгляд, Макс казался человеком могучим, титанически сверхмощным. Глазам легко было обмануться. На самом деле Макс был болен, чем-то серьёзно болен. Тучность его не признак здоровья, а симптом тайной болезни. Поэтому же он не может есть, как все другие. Поэтому он – тот, кто вдвое тяжелее других, – должен есть вдвое меньше. Поэтому запрещено ему всё сладкое.

И когда он признаётся доктору Саркизову-Серазини, что поглощает сотни “коктейльских пирожных”, – это лишь мечта о том, что полностью для него запрещено. <...>

Я свидетельствую, что, прожив в доме Макса около 250 дней (за три лета), я ни разу не видел в его руках сладкого пирожного. Вообще он ел мало – меньше каждого из нас. И за обеденным столом он – при раздаче “добавок” – редко их получал. Елена Оттобальдовна зорко следила за его диетой. Ему нельзя было много есть. Я не знаю названия той болезни обмена веществ, приводившей его плоть к такой повышенной тучности. Но болезнь была, и притом врождённая. Макс и ребёнком был слишком толстым. <...>

Иногда случалось, что Макс уносили обед в комнаты на втором этаже, когда он не хотел отрываться от работы. Как-то я присутствовал при таком обеде. Тарелку с супом и хлеб поставили рядом с рукописью. Я смотрел, как, погружённый в свои мысли, Макс неторопливым и точным движением черпал ложкой суп – и подносил его ко рту. С невольной мальчишеской улыбкой я сказал Макс у о моем наблюдении. Он, оторвавшись от еды и владевшей им думы, внимательно взглянул на меня и серьёзно, почти строго сказал: “Каждая еда – причастие!” – и вернулся к своим занятиям.

* * *

<...> О мгновенной прозорливости Макса значительно позднее я слышал много рассказов из уст его жены Марии Степановны. В этой, первоначальной редакции их правдивость и точность не подлежали сомнению. Вот один из таких случаев, по рассказу вдовы Волошина.

⁶ Цитируются заключительные строки из стихотворения М. Волошина “Готовность” (1921).

У Макса и Марии Степановны была договорённость давать приют и убежище каждому, кто просился переночевать или даже прожить в их доме несколько дней. Однажды вечером на балкон, где они сидели, поднялся совершенно незнакомый им человек и спросил: нельзя ли провести у них ночь? Взглянув на него, Макс сказал:

– Нельзя. У нас все места заняты. Вы можете переночевать у кого-либо в деревне.

– Но у меня, так случилось, совсем нет денег!

– А дальнейшие ваши планы?

– Мне надо добраться до Ялты. Там у меня есть знакомые. Они снабдят меня деньгами. Я должен сесть на пароход...

– Сколько же вам надо?

Тот назвал необходимую сумму. Но у Марии Степановны и таких денег не было.

– Сейчас вы получите, сколько просите.

Мария Степановна отвела Макса в сторону:

– В чём дело? Почему ты не хочешь, чтобы он побыл у нас? У меня совсем нет денег.

– Я соберу, сколько требуется. Но он не перейдёт порога нашего дома!

Макс спустился вниз и со всех жильцов – людей весьма небогатых – собрал нужные деньги.

– Вот возьмите. И поторопитесь в деревню. Там рано ложатся.

Гость ушёл. Почему же Макс нарушил принятый обычай – к удивлению Марии Степановны? В дальнейшем оказалось, что этот человек только что совершил ужасное, чудовищное убийство. <...>

* * *

Вспоминаю такой случай.

Все Эфроны были допущены к пользованию библиотекой Макса, при условии, конечно, бережного обращения с книгами.

Лиля умудрилась забыть на пляже одну из волошинских книг. Это, хорошо помню, была одна из не очень толстых книг, плохо сброшюрованных, – коктебельский бриз легко мог её разметать по каменистому побережью. Так или иначе, Волошин набрёл на свою книгу, бережно собрал её. Книга была спасена.

Макс взял драгоценную беглянку к себе – обратно – и сказал, что при таком отношении к его книгам он не может позволить пользоваться библиотекой. Что есть книги незаменимые, которыми он дорожит. Что эта книга подверглась большой опасности – одна из таких нужных ему книг.

Но интердикт Макса вызвал взрыв негодования со стороны революционно настроенных Эфронов.

– Ну, Макс! Ты просто-напросто заядлый собственник. Моя книга, моя библиотека! Такого отношения мы не ожидали от тебя!

Но Макс – с кротким упорством – продолжал стоять на своём:



**На втором плане К. Субботина,
В. Эфрон, Л. Фейнберг**

– Пожалуйста! В пределах библиотеки можете читать любую книгу. Там очень удобно: есть диван и стулья, можно читать и сидя, и лежа. Но выносить книгу из библиотеки (теперь это ясно) – значит её разрушать.

Эфроны продолжали возмущаться. Я с ужасом следил, как разгорается ссора. Я – ещё мальчик – не понимал, что весь инцидент – пустяковый и забудется через неделю-полторы. Но как? Такие люди, такие сверхлюди... И вдруг – они перестали разговаривать с Максом. И Макс с ними...

Но оказалось, что я тоже хожу в виноватых.

Вера Эфрон... Вера... А моё чувство к ней и впрямь граничило с юношеской влюблённостью – и вдруг жестоко упрекнула меня.

– Вот вы, Лёня, тоже ведёте себя нехорошо. Обдумайте твёрдо: кто из нас прав – мы или Макс? Решите окончательно – и станьте безоговорочно на чью-либо сторону!

“Безоговорочно”. Разве до этого случая был повод мне “безоговорочно” выбрать одну из спорящих сторон?..

Теперь прошло шестьдесят шесть лет с тех пор. И я могу отдать себе трезвый отчёт, как сложился такой упрёк. Мне думается, что Эфроны, конечно, любили Макса, но до конца его не принимали. Они его не понимали “до конца”. Он не подходил *полностью* к их идеалу. Он не был, это они могли заметить, активным революционером. Его философия, его практика жизни – всё это было им чуждо.

Я же не был ни “гением”, ни потенциальным “мятежником”. Они привыкли ко мне – неизменному члену “обормотника”. Признавали, что я к рисованию способен и что память у меня на стихи весьма повышенная. Но и меня, моего сердца, моего отношения к Максy – и к ним самим, они не понимали.

1913 Год

Снова в Коктебеле. Лето. Стихи...

Итак, в начале июня в третий раз я приехал в Коктебель. Я увидел, что дом Макса сильно изменился. За этот сезон Пра и Волошин сумели к дому с юго-востока пристроить обширный добавок – апсиду, сложенную из красивого, не до конца обтесанного камня (известняка?).

Там новая, большая – в два этажа ростом, мастерская Макса. Пятигранная апсида с четырьмя очень высокими окнами, такими высокими – в два этажа, – что кажутся узкими. <...>

Я оценил всё совершенство плана и конструкции этой замечательной мастерской. И всё же мне было жаль двух обжитых мною в прошлом больших комнат Макса. Подросток быстрее и более прочно привыкает. И с трудом расстаётся с привычными комнатами и предметами. Впрочем, предметы остались те же. Только иначе смотрелись в перспективе нового внутреннего пространства. Голова Таиах стояла в самой глубине мастерской, как бы в более узком её ответвлении. Над ней – потолком, навесом – проходила галерея. И в этом своего рода узком и коротком полукоридоре или полугроте стояло два дивана друг против друга. И над ними, помнится, по обе стороны две цепи японских деревянных гравюр: Хиросигэ, Хокусаи, Утамаро; ещё выше – знакомые мне оттиски и репродукции... грустный, томящийся демон Одилона Редона... и другие... <...>

Как-то под вечер случилось, что мы гуляли втроём: Макс, Вера Эфрон и я. Помнится, мы прошли на перевал между Святой и Сюрю-Кая. Макс рассказывал легенды, связанные с этой горой. Мы уже возвращались. Оставалось ещё минут двадцать ходьбы. Каменоломня (тогда ещё возвышалось её характерное изваяние) осталась позади. Два-три увала между нами и заливом. Красивое место. Огромные волны земли...

Макс предложил отдохнуть – присесть на гребне одного холма перед спуском. Мы сели на сухую траву. Макс сказал:

– Мне говорили, Лёня, что вы помните весь мой венок сонетов. Может ли это быть?

– Да, Макс! Думаю, что помню.

– Тогда скажите нам.

– С радостью! Но условимся: если вам не понравится, как я читаю... или вы устанете слушать... тогда скажите: я dokonчу как-нибудь в другой раз.

Я начал читать. Старался читать спокойно, без малейшего оттенка пафоса. Только смысловая выразительность.

Пятнадцать сонетов заняли меньше получаса! Меня никто не прерывал. Макс слушал с простым, спокойным вниманием. Помню, ключевой сонет я прочел два раза: в начале и в конце цикла.

Сильно свечерело. Макс, после молчания, заметил:

– Но, Лёня! Как вы могли все это запомнить?

Кажется, я сказал:

– “Corona astralis”. Это запомнилось само собой. Конечно, надо было внимательно прочесть несколько раз...

* * *

Вероятно, в это же время я был восхищённым свидетелем: Волошин прочёл нам, конечно, по рукописи свой второй веночек сонетов "Lunaria"⁷. Нам: слушателей было немного, человек пять-шесть. Среди нас – Пра, Марина Цветаева, Эфроны-сестры. Кажется, Серёжи Эфрона не было: он был прикован к постели туберкулезной температурой. Кто ещё? Не могу вспомнить с уверенностью. <...>

Итак, серый день. Белая комната. Несколько человек, сидящих довольно тесно. В центре нашего круга, точнее – сегмента – спиной к окну – Макс: спокойно-тёмное лицо, плавно-волнистое море волос, спокойный голос, прекрасно выговаривающий – строка за строкой – прекрасные стихи нового "венка сонетов". <...>

Мне никогда не приходилось слышать лучшего чтения стихов. Я слышал прекрасных чтецов, например, Яхонтова. Но значимость его декламаций коренилась именно в достоинствах чтения. Поэтому лучше всего было слушать у Яхонтова знакомые стихи, которые знаешь по памяти. Тогда – с особой силой – можно было оценить изящное совершенство его трактовки.

Здесь совсем другое. Низкий баритон (отнюдь не бас) голоса Макса не акцентировал трактовки: выделял, обрисовывал образ, смысл каждой строки, и каждые четырнадцать строк слагались в четкий, компактный, особый конгломерат. Сумма контрастов здесь ещё большая, чем в первом венке. В самом отношении к героине, к Луне, скрыта несовместимость: любование противопоставлено антипатии, признание красоты – ужасу, гибель – надежде.

Поэт не выдвигал себя на первый план. Он оставался в тени. Особенно от меня – тёмным силуэтом на фоне светло-серого окна. И только голос, плавный, внешне спокойный, но внутренне певучий, отчётливо доносил образы, содержание каждой строки. При этом – поражающее, ничем не затемнённое, не поколебленное чувство стиха, совершенство просодии, совершенство самой поэзии...

Вероятно, это чтение и было самым значительным поэтическим впечатлением, *извне* дошедшим до моего слуха – за всю мою жизнь. Вероятно, у большинства слушателей, в разной форме и степени, было такое же чувство. Макс кончил. Молчание. И естественное, и неловкое. Необходимо было его прервать. Но никто не решался. Наконец, первое слово взяла Пра (она тоже слышала веночек в первый раз).

– Ну что же, прекрасный веночек сонетов, Макс. Очень не похожий на первый. Но ничем не хуже. Быть может, ещё лучше.

Учтите твёрдый, спокойно-резюмирующий голос Пра.

– Однако одна строчка меня покорила. С одной строчкой я не согласна!

– Да, мама? Но с какой же?

Как всегда, голос Макса, когда он не был согласен с Пра, принимал искусственно-жалобный оттенок. Сейчас он готовился к самозащите, к спору.

⁷ Веночек сонетов "Lunaria" был написан Волошиным с 15 июня по 1 июля 1913 года.

Второй сонет. Завершающие триоли:

От ласк твоих стихает гнев морей,
 Богиня мглы и вечного молчанья,
 А в недрах недр рождаешь ты качанья,
 Вздуваешь воды, чрева матерей
 И пояса развязываешь платий,
 Кристалл любви! Алтарь ночных заклятий!

Несколько необычный родительный падеж множественного числа в предпоследней строке нам непривычен. Правда, заклятия – заклятий, объятя – объятий, проклятя – проклятий. Обычно: платье – платьев. Но по-старорусски: платия – платий, как братия – братии.

В чтении Макса эта строка тогда прозвучала так:

«И раковины делаешь пузатей».

– Как хочешь, Макс! “Пузатей” – недопустимо. Вносит комический элемент в очень строгие строки. Эту строчку ты должен изменить.

– Очень трудно! Может быть – “рогатей”?

– Нет, Макс! Звучит ещё смешней. Видишь ли, сын. “Пузатей” – в этом что-то мягкое. Не подходит к раковине.

Кажется, Марина Цветаева была согласна с Пра.

Я мог бы сказать, что эпитет “пузатый” мы часто применяем к весьма твёрдым предметам. Мы говорим: “пузатый комод”, “пузатый самовар”. Но я промолчал.

Макс не согласился:

– Но, мама... ведь это вправду так и есть. Раковины увеличиваются в связи с фазами луны.

– Однако, Макс. Ты пишешь не научный трактат и не учебник. Стихи... у них другие законы. К ним другие требования. “Пузатей”... это недопустимо в твоём венке!

И я молчал, но с нею был согласен... <...>

* * *

Мне пришлось стать случайным свидетелем острой дискуссии между Алексеем Николаевичем Толстым и Волошиным. Приношу извинение читателю за то, что отнёс этот небольшой рассказ к тринадцатому году, хотя, как я это выяснил потом с полной точностью, такой спор мог произойти только в двенадцатом.

Вопрос шёл о небольшой детали, об одном эпитете в последней строке стихотворения “Делос”. Последняя строфа этого стихотворения, посвященного не Толстому, а Сергею Маковскому, главному редактору “Аполлона”, звучит так:

Делос! Ты престолом Феба
 Наг стоишь среди морей,
 Воздымая к солнцу – в небо
 Дымы чёрных алтарей.

Так вот, Алексей Николаевич категорически возражал против “чёрных алтарей”. По его мнению, алтарь вообще не может быть чёрным. Такой цвет не присущ никакому алтарю – тем более алтарям, посвящённым Фебу, богу солнца!

Макс спокойно защищал этот эпитет:

– Что же делать, если алтари на Делосе и впрямь чёрные, если они продымлены и обуглены?

Но Толстой настаивал:

– И вообще “чёрный” – это не цвет предмета, озарённого солнцем. Это цвет отверстия, дыры, воды на дне колодца. Этот эпитет – цвет внезапного провала в бездонное – в конце стихотворения.

Волошин тихим, плавным голосом возражал, защищая свою строчку:

– Возможно, что ты и прав. Но так и нужно в конце этих строф. Конечная строка должна уравновесить две первые:

Оком мертвенным Горгоны
 Обожжённая земля...

Есть внутри строк нарастание: “Делос знойный и сухой... Только лавр по склонам Цинта”, и далее:

Но среди безводных кручей
 Сердцу бога сладко мил
 Терпкий дух земли горючей,
 Запах жертв и дым кадил.

Но всего этого мало: первые две строки требуют простого и чёткого конца. “Дымы чёрных алтарей”. Это – конец. Завершение.

Но Толстой не хотел сдаваться. Настаивал. Но чем он сильнее возвышал голос, тем спокойней, отчуждёней, замедленнее становились паузы Макса.

В конце концов каждый из спорящих остался при своём мнении.

Я всем сердцем был на стороне Макса. Но, конечно, не произнёс ни слова.

Теперь, выводя из глубины памяти подробности этого спора, я отчётливо помню, что эта дискуссия проходила в одной из двух комнат на втором этаже. Значит, ещё не была встроена мастерская. Итак, дата “двенадцатый год” верна.

* * *

<...> Приближался день моего отъезда из Коктебеля. Мне казалось несомненным, что лето будущего, четырнадцатого, года я проведу опять – в четвёртый раз! – в доме Волошина. Об этом я заранее договорился с Еленой Оттобальдовной. Мне и в голову не могло прийти, что пролетят тридцать семь лет – прежде чем я смогу снова перешагнуть порог дома Макса.

Конечно, я дорожил каждым коктебельским днём. И всё же срок отъезда неумолимо приближался. Наконец, настал день, когда я должен был в последний раз пожать руку Макса. Но я не знал, что это – в последний раз...

Все знают, что Макс был убеждённым “хиромантом”. И большинство друзей Макса настойчиво просили его посмотреть линии их ладоней, “погадать”. Но Макс очень редко соглашался. И я тоже как-то обратился к нему с той же просьбой. Но Макс молчаливо уклонился. И я больше не надоедал ему.

Однако несколько раз я был свидетелем, как Макс, согласившись на просьбу, у кого-нибудь “смотрел ладонь”. И у меня создалось впечатление, что это для него не так просто, что такое “гадание” для Макса связано со своего рода “медитативным напряжением”.

В своих стихах Макс не раз говорит о чтении линий руки. “Раскрыв ладонь, плечо склонила...” И ещё детальней:

Мой пыльный пурпур был в лоскутьях,
 Мой дух горел: я ждал вестей,
 Я жил на людных перепутьях
 В толпе базарных площадей.
 Я подходил к тому, кто плакал,
 Кто ждал, как я... поэт, оракул –
 Я толковал чужие сны...
 И в бледных бороздах ладоней
 Читал о тайнах глубины
 И муках длительных агоний...

Я уже должен был идти. Меня ждали: я ехал не один. Я зашёл в мастерскую, чтобы сказать Макс “до свидания” – и в неудачный момент. Макс рисовал портрет. Кого? Не помню. Модель была женская. Быть может, Капитолина Субботина?

Макс не любил, когда его отрывают от портретирования. И я зашёл на полминуты. Протянул руку: “До свидания, Макс. До будущего лета!”

Но Макс взял мою руку – и повернул ладонью вверх. Потом взял левую...

Он сказал:

– Мне сейчас некогда. Потом как-нибудь я посмотрю внимательней. <...>

Последний раз, когда я говорил с Максом.

Послесловие

Итак, прошло тридцать семь лет, прежде чем я снова посетил Коктебель. <...>

Но я не узнал Коктебель. Правда в 1950-м ещё были следы разрушений – всего пять лет прошло после завершения войны, и новых построек было ещё не много. Но разрушения были, очевидно, во мне самом. Горы оказались вдвое ниже. Морской прибой уже не был столь красноречивым. Коктебельский бриз – осенний – был слишком прохладен.

Первые три дня горько сожалел я, что решился приехать на мою творческую родину – через столько лет! Я был отравлен, чем? Самим собою. Хотя я ещё не был стариком.

Но мои глаза не узнавали *того* Коктебеля. <...> Полностью исчезла каменоломня, столь необходимый пространственный ориентир, вдвое возвышавший горы, определявший размах пути к ним. Но пляж... пляж! Где семи-десятиметровый настил вгладь отточенных разнокалиберных чёрных, красных, зелёных, белых камней? Как тогда утверждали, второй в мире такой пляж! На моих глазах жалкие остатки чудесного каменного ковра наваливали лопатами на грузовики – и увозили вглубь крымской равнины, мостить шоссе...

А я сам? Я уже не мог подняться ни на Карадаг, взглянуть, как в юности, на великолепный хаос этих изумительных, огромных скал, ни на Святую гору... <...>

Но прошло дней пять – и горечь разлуки с давнишним чудесным Коктебелем во мне утихла. Новый Коктебель смог слиться с прежним воедино. <...>

Сокращу мой рассказ – ведь я пишу послесловие. Мне только хочется рассказать, как мы с дочерью поднялись на Янышары, посетить могилу Волошина.

Числа не помню. Конец сентября. Уже к вечеру. Мы пошли в часу шестом.

На пляже было тепло. Осень стояла необычайно жаркая. Но когда мы стали подниматься напрямик, без дороги, на Янышары, солнце садилось – и подул холодный ветер. И – странное дело! – наш путь перебежал или дикий оленёнок, или, вернее, небольшой сайгак. Помню, как он обернул к нам голову с маленькими рожками, мгновение постоял и скрылся в зарослях сбегавшего сверху оврага.

Когда, вернувшись, мы рассказали об этой встрече Марии Степановне, она не поверила. Но ведь мы видели его оба, и он был совсем близко от нас.

Цветов положить на могилу у нас не было. Я захватил с собой только вгладь отточенный камешек яшмы. Но там, у могилы, дул ледяной ветер – из глубины Крыма.

Я позволю себе привести стихотворение, которое я написал, вернувшись, уже в Москве. В стихах, как видно, можно сказать многое, что в прозе не выговаривается:

Ты долго томился в холодной земле.
Но солнце помедлило: в воды вглядеться
И холмы покоить в великом тепле...

И сердце твоё не могло не согреться.
С нагорья чуть слышно меня ты позвал,
И вверх по восклону я шёл без дороги,
И ветер ладони мне в грудь упирал,
И колкие травы цеплялись за ноги.
Я маленький камень – зелёный – принёс,
Отточенный вгладь мириадами взводней,
И звёздочка яшмы вдавилась в откос,
Чтоб память вздохнула светлей и свободней.
Пусть жёсткие корни сплелись вместо жил
И рыжей рудою вся кровь обернулась:
Я руку на сердце тебе положил...
Но сердце большое в ответ не качнулось.
А помнишь – те дни? – их мятежный Восток,
Косматые солнца в просторе богатом...
Меня ты забыл – неположенный срок,
И нехотя принял слугою и братом.
Но к прежним истокам я снова приник
И снова прокрался в родной заповедник,
Твой друг неразумный, немой ученик,
Единственный, хоть незаконный, наследник.
Прости ж мою немощь: что робок и слаб,
Что день мой – туманней, и мрак – непробудней,
Что блудный твой брат, что уклончивый раб
Заветное солнце не поднял из будней.